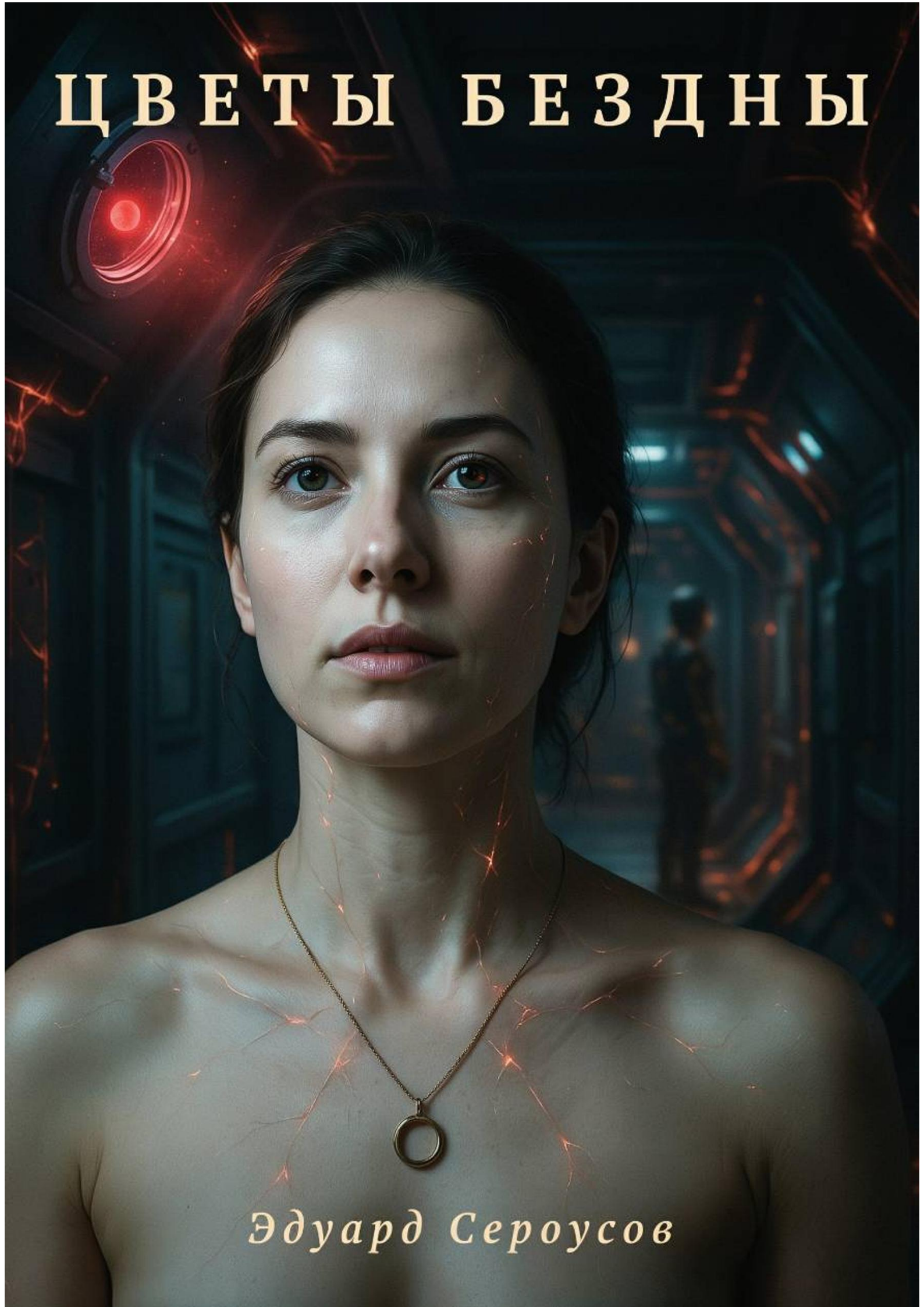


ЦВЕТЫ БЕЗДНЫ

A movie poster for the film 'Цветы бездны' (Flowers of the Abyss). The central figure is a young woman with dark hair and light-colored eyes, looking directly at the camera with a serious expression. She is wearing a simple gold chain necklace with a circular pendant. Her face and neck are overlaid with glowing, branching red lines that resemble neural pathways or energy veins. The background is a dark, industrial-looking corridor with blue ambient lighting. In the upper left, a circular red light fixture is visible. In the distance, a blurred figure of another person can be seen. The overall mood is mysterious and high-tech.

Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Цветы бездны

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Цветы бездны / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Исследовательская станция «Деметра» на орбите планеты в системе Проксимы Центавра. Астробиолог Аманда Рейес, потерявшая мужа из-за болезни, стирающей память, изучает светящиеся кристаллы, найденные на поверхности чужого мира. Шесть человек, спрессованных в тесный модуль, восемь световых лет тишины и корпоративный куратор, требующий сенсации к ближайшему заседанию совета. Когда образец отвечает на первый же импульс, экипаж оказывается перед выбором: считать это долгожданным первым контактом или чем-то куда более древним и терпеливым. Старый ксенолингвист предупреждает, что удильщик приманивает светом, но его никто не слышит — и сигнал уходит домой, к самым чутким ушам человечества.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Порядок	5
Часть 2. Приманка	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Цветы бездны

Часть 1. Порядок

Во сне она всегда кормит его с ложки.

Больничный свет ровный и белый, и кисель на ложке дрожит того же цвета, что стены, — цвета вещей, которым нечего сказать. Элиас открывает рот, послушный, как ребёнок, и глотает, и смотрит на неё вежливо, тепло — так смотрят на приятную незнакомку в очереди. «Спасибо», — говорит он и трогает её обручальное кольцо, будто впервые видит красивую вещь. Он не знает, что это кольцо надел ей сам, июльским днём, четырнадцать лет назад, когда у него ещё были все слова и он тратил их на неё не считая. Он не знает её имени. В его глазах — та же ровная приветливость, с какой он теперь встречает весь мир: без прошлого, без веса, без неё. Аманда держит ложку ровно, потому что если рука дрогнет, она заплачет, а если она заплачет, он испугается — он всегда пугался чужих слёз в последний год, не понимая их, отшатываясь, как от резкого звука, — и она подносит следующую ложку, и следующую, кормит забвение, пока оно не наестся и не уснёт.

В самом конце сна он всегда говорит одно и то же. «Вы очень добрая», — говорит Элиас незнакомке, которая была его женой одиннадцать лет, и улыбается, и Аманда просыпается раньше, чем успевает ответить, потому что ответить нечего.

Она проснулась от гудка орбитального выравнивания, и первое, что увидела, был красный свет.

Не белый. Красный — густой, старый, процеженный сквозь восемь световых лет и тонкое кварцевое стекло иллюминатора. Проксима Центавра стояла низко над лимбом планеты, маленькое злое солнце размером с монету, и лила в каюту цвет остывающего железа. Свет этот ложился на всё ровно и безразлично: на пристёгнутый к переборке планшет, на форменную куртку, обмякшую на крючке, на её собственную руку поверх одеяла, делая кожу чужой, восковой. Аманда лежала минуту, дыша, возвращая себя из больничного коридора десятилетней давности в тесную койку исследовательской станции «Деметра», на орбите чужого мира, в сорока триллионах километров от той палаты, где всё это кончилось.

Кольцо висело у неё на цепочке между ключиц. Она сжала его в кулаке, согревая металл дыханием и телом, — привычка, ставшая почти молитвой без бога, — и лежала так, пока красное солнце ползло по краю иллюминатора. Здесь не было утра. Проксима не всходила и не заходила по-настоящему: станция обращалась вокруг планеты, планета — вокруг тусклой звезды, и «день» с «ночью» были расписанием, которое люди привезли с собой, чтобы не сойти с ума. Сейчас по расписанию была ночь. По телу — тяжёлое, ватное межвременье, в котором сны не отпускают.

Она встала.

Станция была маленькой и всегда полной. Шесть человек, спрессованных в модуль размером с два автобуса, дышали одним воздухом, знали кашель друг друга, шаги, запах — знали, кто плохо спал, по тому, как он держит кружку. За сорок дней на орбите и три спуска на поверхность «Деметра» пропиталась ими насквозь: пахла кофе, разогретой электроникой, чуть-чуть — потом и металлом, и поверх всего тонко, едва уловимо, чем-то незнакомым, минеральным, привезённым с поверхности в порах скафандров и под ногтями. Запахом планеты. Аманда научилась его различать только на второй неделе и с тех пор не могла забыть.

Она шла по центральному коридору — три метра до кают-компаний, весь простор их мира, — и уже слышала Восса.

— ...и я объясняю акционерам не поэзию, а результат, — говорил Восс кому-то по связи, и его голос был бодрым, отрепетированно тёплым, голосом человека, который улыбается в пустую комнату, потому что кто-то может смотреть. — Мы не за красивыми камнями летели восемь лет. Мы летели за строчкой в учебниках.

Он сидел у главного стола перед выключенным теперь экраном — связь с Землёй шла с восьмилетней задержкой, и «разговор» был монологом в вечность, записью, которая долетит до адресата, когда всё уже будет решено, — но Восс всё равно вёл его так, будто его слушают немедленно. Воротник его был безупречно бел. На сороковой день полёта, среди людей, махнувших рукой на глазку, Леон Восс держал воротник так, будто через час фотосессия. Он куратор от «Астеры», корпорации, оплатившей половину этой экспедиции, и он никогда не забывал, чью половину.

— Доброе утро, доктор Рейес, — сказал он, не оборачиваясь, будто у него были глаза на затылке — или будто он просто знал, что в этот час не спит на станции только она. — Вам снова снилось что-то печальное. У вас лицо.

— Мне снилась работа, — сказала Аманда и налила себе воды из диспенсера. Вода была тёплой и чуть отдавала пластиком, как всё здесь.

— Прекрасно. Тогда поговорим о работе. — Он развернулся вместе с креслом, и приветливость с его лица сошла ровно настолько, чтобы стало видно сталь под ней. — Совет собирается через семьдесят два часа по нашему времени. К этому окну мне нужен доказанный контакт и живой образец на борту. Не «интересная минеральная активность». Контакт. Разум. То, что можно показать в прямом эфире и не краснеть.

— Наука не подстраивается под расписание совета директоров.

— Наука — это то, что мы можем показать акционерам, — сказал Восс мягко. — Всё остальное — хобби, доктор. Красивое, дорогое хобби, которое кто-то финансирует. Пока финансирует.

Он дал слову повисеть. За его спиной, в широком обзорном окне, поворачивалась планета — ржаво-бурая, в разводах тёмных «полей», которые с орбиты казались лишайником на камне. Где-то там, в одной из южных котловин, росли цветущие камни. Три спуска, четырнадцать образцов, сотни часов записи — и ни одного слова, которое Аманда решилась бы назвать словом.

— Мы близко, Леон, — сказала она, и это было наполовину правдой, той наполовину, которой хочется верить. — Активность в образцах растёт. Но «близко» и «на показ через трое суток» — не одно и то же. Если я привезу вам сырой феномен и мы ошибёмся на весь мир, эта ошибка будет громче любого успеха.

— Тогда не ошибайтесь, — сказал Восс и снова отвернулся к экрану, к своей невидимой аудитории в будущем. Разговор был окончен так, как он всегда его заканчивал: оставив другому нести тяжесть.

Аманда стояла с тёплой водой в руке и смотрела ему в затылок, в безупречный воротник, и думала, что боится этого человека не потому, что он жесток, — он не был жесток, — а потому, что он хотел от вселенной ровно того же, чего боялась она. Не исчезнуть. Остаться в строчке, в кадре, в памяти. Только он гнался за этим наружу, к заголовкам, а она — внутрь, к единственному, что не умела спасти.

Дауд ждал её в лаборатории. Он всегда приходил раньше — маленький, сутулый, с седой щетиной, ксенолингвист, единственный на борту человек, писавший от руки. Перед ним лежал раскрытый бумажный блокнот, настоящий, из мёртвого дерева, привезённый за восемь свето-

вых лет из чистого упрямства, и Дауд что-то чертил в нём карандашом, медленно, останавливаясь, стирая.

— Я думаю медленнее, когда пишу рукой, — сказал он, не поднимая головы, будто продолжая вчерашний разговор. — А сейчас нужно думать медленно. Все вокруг думают быстро. Восс думает со скоростью пресс-релиза. Это заразно, Аманда. Спешка — самая заразная болезнь в замкнутом помещении.

На главном экране застыл узор — снимок образца номер девять. Шестиугольная решётка света внутри полупрозрачного камня, изломанная, ветвистая, и в ней — симметрия. Аманда смотрела на неё три дня и всё не могла привыкнуть к тому, как ей хочется назвать это красивым.

— Восс хочет контакт за трое суток, — сказала она, садясь напротив.

— Восс хочет фейерверк. — Дауд повернул блокнот к ней. Он нарисовал от руки ту же решётку, но рядом — рыбу, глубоководную, с длинным отростком надо лбом, и на конце отростка — крошечную звезду. Рисунок был неумелый, детский, и оттого страшноватый. — Знаешь, что это?

— Удильщик.

— Приманка. — Он постучал карандашом по звёздочке. — Она светится ритмично. Симметрично. И рыбе, которая всю жизнь провела в темноте, кажется, что перед ней — не пасть, а звезда. Что-то родное. Что-то, к чему хочется подплыть. — Он поднял на неё выцветшие глаза. — Аманда, эта симметрия слишком совершенна. Речь так не выглядит. Речь неряшлива, она полна ошибок, пауз, оговорок — потому что за ней кто-то живой и торопящийся, кто-то, кому важнее сказать, чем сказать красиво. А это, — он кивнул на экран, — гладко. Гладко бывает у того, кому нечего сказать. Или у того, кто очень хочет, чтобы ты подплыла.

— Симметрия бывает и у здоровых систем, — сказала Аманда, и это был спор скорее с собой, чем с ним. — Кристалл, снежинка, раковина. Красота — иногда просто следствие простых правил.

— Иногда, — согласился Дауд. — А иногда — реклама. Как ты отличишь снежинку от вывески, если никогда не видела ни зимы, ни магазинов? — Он откинулся. — Мы прилетели с одним словарём — нашим. Мы смотрим на чужое и видим в нём знакомое, потому что другого зрения у нас нет. Ты видишь в узоре речь, потому что всю жизнь изучаешь речь и её потерю. Восс видит трофей, потому что охотник. Я вижу приманку, потому что однажды уже клюнул на красивое и потерял из-за этого людей. Никто из нас не видит камень как он есть. Мы видим свои страхи, разложенные по его граням.

Аманда молчала. За переборкой гудели регенераторы, ровный механический выдох станции. Она поймала себя на том, что трёт большим пальцем костяшку — старая привычка, всплывавшая всегда, когда она собиралась сделать то, что уже решила, и делала вид, будто ещё думает.

— Что ты потерял? — спросила она тихо. Она знала обрывками, из личного дела, из недомолвок; но никогда не спрашивала прямо.

Дауд долго молчал, водя карандашом по краю рисунка, обводя звёздочку снова и снова, пока та не почернела.

— Прошлая миссия. Не эта корпорация, другая. Мы нашли структуру подо льдом одной луны — правильную, красивую, зовущую. Я писал в отчётах, что мы не понимаем, что это, что надо ждать. Мои отчёты мешали графику бурения, и их... сгладили. Убрали неудобные абзацы. Красиво подали. — Он положил карандаш. — Одиннадцать человек. Я не буду рассказывать как. Я расскажу только вывод, к которому пришёл за десять лет после: беда входит не через злобу. Злобу видно, злобу боятся. Беда входит через восторг. Через «как красиво» и «давайте покажем всем». Через самых хороших из нас, в их лучшую минуту. — Он посмотрел на неё. — Поэтому я пишу от руки и держу вот это.

Он выложил на стол потёртую коробочку размером с ладонь — автономный регистратор, с собственной памятью, не связанный с сетью станции.

— Пишет всё, — сказал он. — Офлайн. Никакая система его не тронет, никакой Восс не «сгладит». Если однажды понадобится доказать, что кто-то предупреждал, — доказательство будет здесь. Даже если предупреждавшего уже не будет.

— Ты говоришь так, будто готовишься умереть.

— Я готовлюсь быть правым, — сказал Дауд без улыбки. — Это, к сожалению, часто одно и то же.

Она нашла Нину на нижней палубе, у стеллажа с образцами. Девочка — Аманда до сих пор думала «девочка», хотя Нине было двадцать, и она прошла тот же отбор, те же восемь лет анабиозного полёта, что и все, — стояла спиной, в отцовской лётной куртке, старой, потёртой, на два размера больше, с обтрёпанным воротником, который Элиас так и не дал зашить. Нина носила её везде. Это было единственное, что она взяла из его вещей, и это было больше, чем взяла Аманда.

— Данные по девятому образцу готовы, — сказала Нина, не оборачиваясь. Она узнавала шаги Аманды, как все здесь узнавали шаги друг друга. — Я загрузила в твою папку.

— Спасибо.

— Я перепроверила спектр три раза. — В голосе была та особая ровность, за которой прячут желание, чтобы заметили. — Там аномалия в решётке на четвёртом слое, я её отдельно вынесла. Реакция идёт с задержкой, будто сначала... накапливается. Как будто оно решает, отвечать или нет. Я знаю, что это звучит ненаучно.

— Это звучит как гипотеза, — сказала Аманда. — Гипотезы можно проверять. Я посмотрю.

Нина обернулась. У неё были глаза Элиаса — тёмные, слишком внимательные, — и это до сих пор било под дых, каждый раз, всякий раз, десять лет. В них сейчас была короткая вспышка надежды — «я посмотрю» прозвучало почти как «ты молодец», — и то, как быстро эта надежда погасла, было хуже любого упрёка.

— Ты всегда так говоришь, — сказала Нина. — «Я посмотрю». Как будто я подала заявку, а ты — комиссия.

— Нина.

— Я не образец, Аманда. — Она грызла дужку очков, старый нервный жест, отцовский, он тоже так делал. — Ты весь мир превращаешь в образцы. Раскладываешь по папкам, по спектрам, по слоям. Так безопаснее, да? Так ничто не может тебя удивить, ничто не может подойти слишком близко. — Она помолчала, набираясь духу. — Меня тоже под микроскоп положишь? Или я уже там, в какой-нибудь папке — «Нина, наблюдение, дистанция десять лет, изменений не выявлено»?

Аманда открыла рот и не нашла слов. Их у неё всегда было мало для этого — она умела описывать, как уходит человек, могла на трёх языках назвать стадии, синдромы, механизмы распада личности, но не умела сказать простого: что боится подойти к живому, потому что уже знает, чем всё кончается, знает это в теле, наизусть, до дрожи. Что держит Нину на расстоянии не от холода, а от трусости, потому что любить её — значит однажды снова стоять с ложкой у чьей-то постели.

— Я держу тебя подальше от камеры активации, — сказала она наконец, не то, что нужно, совсем не то, а первое безопасное, что подвернулось. — Ты младший специалист. Это не твоя зона допуска, и пока идёт активная фаза, будет правильно, если...

Что-то в лице Нины закрылось, тихо, окончательно, как закрывают книгу, которую не дочитают.

— Конечно, — сказала она. — Допуск. — И, помолчав, тише, уже не с упрёком, а с чем-то похуже, с привычной, обношенной болью: — Знаешь, он бы так не смог. Папа. Он бы просто обнял и сказал глупость. Он был глупый в этом смысле. Тёплый и глупый. — Она отвернулась к стеллажу. — Иди, смотри свой спектр. Аномалия на четвёртом слое. Я всё пометила.

И ушла бы, но идти было некуда — весь их мир три метра в поперечнике, — так что она просто стояла к Аманде спиной, в отцовской куртке, у полки с чужими камнями, и Аманда стояла в красном свете с невысказанным, тяжёлым, как порода, застрявшим в горле, и ни одна из них не сделала того единственного шага, который был нужен, потому что обе слишком долго учились его не делать.

Она пришла в камеру активации одна, в третью смену, когда станция спала.

Это была не работа по протоколу — протокол требовал двоих и записи. Это было что-то тише и честнее: ей нужно было побыть с феноменом наедине, без Воссса, без его расписания, без Дауда с его удильщиком, без глаз Нины. Ей нужно было посмотреть самой и решить самой, прежде чем поверить кому бы то ни было.

Образец номер девять лежал в изоляционном боксе под тусклой лампой — кусок породы размером с кулак, полупрозрачный, дымчатый, с той самой решёткой света внутри. В темноте камеры он казался живым: свет в нём чуть переливался, будто дышал, будто откликался на её присутствие. Аманда знала, что это иллюзия, эффект её собственного зрения, устающего в темноте. Знала и всё равно не могла отделаться от чувства, что на неё смотрят.

— Ну, — сказала она вслух, глупо, по-человечески, как говорят с постелью больного. — Покажи мне.

Она включила слабый анализирующий импульс, рутинную процедуру, которую делала сто раз, — просто послушать, как камень отражает, снять базовый отклик. Ничего опасного. Шёпот, не крик.

Камень ответил.

Не отражением. Решётка внутри дрогнула — и перестроилась. Медленно, на глазах, изломанный узор разгладился в новую фигуру, чище и симметричнее прежней, будто кто-то невидимый сложил ладони. Свет внутри потеплел, из красного в янтарный, и на секунду — Аманда потом не могла поклясться, что не выдумала это, — по камере прошла волна, не звука, не света, а чего-то на грани, лёгкое давление за грудиной, как узнавание. Как когда в чужом городе вдруг слышишь родную речь.

Узора, который она увидела, минуту назад не было.

Аманда стояла очень тихо. Большой палец сам собой лёг на костяшку. Внутри поднималось что-то, чего она не позволяла себе десять лет, — не восторг учёного, а голая, детская надежда, которую она узнала и испугалась. В дымчатой глубине камня свет держал новую, невозможную симметрию, и — она знала, что это невозможно, знала, что вкладывает в чужое своё, ровно как предупреждал Дауд, — и всё равно не могла отделаться от одной-единственной мысли, поднявшейся из самой глубины, оттуда, где жил больничный коридор и ложка:

Оно не забывает. Что бы это ни было — оно помнит то, что я ему сказала.

Она выключила импульс. Погасила лампу. Постояла ещё минуту в полной темноте, где светился только камень, ровно, терпеливо, ожидающе.

Потом ушла спать и впервые за долгое время уснула сразу.

Часть 2. Приманка

— Оно перестроилось *после* импульса, — сказал Восс. — То есть ответило. То есть контакт.

— Оно перестроилось после воздействия, — поправил Дауд. — Кристалл под нагрузкой меняет структуру. Это делают и обычные пьезоматериалы, и жидкие кристаллы в старых экранах. Ты называешь ответом то, что хочешь услышать.

Они собрались в кают-компании впятером — все, кроме Тео, дежурившего в машинном. На экране крутилась запись ночного эксперимента, которую бортовые всё-таки сохранили: импульс, дрожь решётки, новая симметрия. Аманда смотрела на неё в десятый раз и всё чувствовала то давление за грудиной, хотя запись его не передавала. Запись передавала картинку. Она не передавала узнавания.

Рядом с ней сидела биохимик экспедиции, Присцилла Ортега, немолодая, сухая, немногословная женщина, за сорок дней сказавшая, кажется, меньше слов, чем Восс за одно утро. Сейчас она смотрела на экран, поджав губы.

— С точки зрения биохимии, — сказала Ортега медленно, — у меня нет для этого категории. Оно не углеродное. Наследственность, если это можно так назвать, оно хранит не в молекулах, а в дефектах решётки — в том, где именно нарушена правильность кристалла. Это как если бы вся генетика была записана опечатками. — Она чуть качнула головой. — Я не говорю, что это разум. Я говорю, что у меня кончились слова, которыми я умею говорить «не разум». Обычно я знаю, почему что-то живо, но не мыслит. Здесь я не знаю. Это меня и тревожит.

— Слышите? — Восс развёл руками. — Даже осторожная доктор Ортега.

— Я не сказала «контакт», — отрезала Ортега. — Я сказала, что не знаю. Это разные вещи, Леон. Ты всё время путаешь «я не знаю» с «значит, да».

— Доктор Рейес. — Восс повернулся к Аманде, оставив Ортегу, как оставляют закрытую дверь. В его голосе была та особая мягкость, которой он давил. — Вы там были. Ночью. Вы почувствовали ответ или нет? Не прибор — вы.

Аманда молчала секунду дольше, чем нужно. Она помнила давление за грудиной. Помнила мысль — «оно помнит». И знала, ровно как знал Дауд, что именно эту мысль нельзя произносить вслух в этой комнате, потому что Восс подхватит её и понесёт, и она станет не гипотезой, а знаменем.

— Я почувствовала, — сказала она наконец, — что мне очень хочется, чтобы это был ответ. Это данные о моём состоянии, а не о камне. Учёный обязан их вычитать из наблюдения, а не вписать в него.

Дауд бросил на неё быстрый благодарный взгляд.

— Умно, — сказал Восс без улыбки. — Осторожно. И бесполезно для совета директоров. — Он встал, прошёлся вдоль стола — три шага, весь простор станции. — Давайте я объясню, где мы. «Астера» вложила в «Деметру» сумму, за которую можно построить город. Через двое суток совет решает, продлевать ли программу или списать её как красивую неудачу. Восьмилетняя задержка связи означает, что моё решение сейчас — это то, что они увидят через восемь лет и по чему будут судить, была ли эта миссия триумфом или дырой в бюджете. Если я пошлю «интересную минеральную активность», нас закроют. Не сократят — закроют. И следующий корабль сюда придёт через поколение, если придёт вообще. — Он оперся руками о стол. — А если я пошлю контакт — доказанный, снятый, — то эта планета, эта станция и вы все входите в историю навсегда. Выбор довольно простой.

— Выбор не твой, — сказал Дауд.

— А чей же? — Восс посмотрел на него почти ласково.

— Того, кто понимает, что мы трогаем. — Дауд встал тоже, маленький рядом с Воссом, но твёрдый, как гвоздь. — Я тебе уже сказал, чем кончаются красивые находки, которые торопятся показать. Одиннадцать человек. Я держу автономный регистратор, — он положил на стол потёртую коробочку, — потому что я больше не доверяю системам, которые слишком хотят красивого результата. Включая людей. Включая себя, между прочим. Я тоже хочу, чтобы это был контакт. Я всю жизнь мечтал услышать чужую речь. Именно поэтому я себе не верю.

Повисла тишина. Восс смотрел на коробочку, на блокнот, на старика, и в уголках его губ мелькнуло что-то — не злость, а лёгкое, снисходительное веселье человека, который уже выиграл и просто ждёт, пока остальные это заметят.

— Записывайте что хотите, — сказал он. — Историю всё равно пишут победители. А проигравшие пишут в блокнотиках.

Ортега встала и вышла, не сказав ничего, и это молчание было громче спора.

Позже, когда остальные разошлись, Дауд задержал Аманду.

— Я покажу тебе одну вещь, — сказал он. — Не для протокола. Для тебя. Потому что ты единственная здесь, кто и хочет верить, и умеет сомневаться одновременно. Это редко и это ценно, и это, возможно, единственное, что нас спасёт.

Он вывел на экран две волны — синусоиды, наложенные друг на друга.

— Смотри. Это резонанс. Любой сигнал, любой узор — это волна. Речь — волна. Свет — волна. То, что делает наш камень, — тоже волна, узор колебаний в решётке. — Он сдвинул вторую волну на полпериода, в противофазу, и там, где раньше был пик, стал ноль, гладкая линия. — Деструктивная интерференция. Две волны, идеально противоположные, гасят друг друга в тишину. Ничего не осталось. Это как два крика одинаковой силы, но в противоположные стороны, — и вокруг тишина. — Он посмотрел на неё. — Что бы это ни было, оно говорит волнами. А любую волну можно погасить противовойной. Запомни это. Я не знаю зачем. У меня нет плана, нет теории, что нам понадобится оружие. Есть только очень старое чувство, вот здесь, — он тронул грудь, — которое я научился не игнорировать. Оно говорит: держи в кармане способ сказать «нет». Даже если не знаешь, кому.

— Ты правда думаешь, что нам понадобится способ сказать «нет».

— Я думаю, — сказал Дауд, собирая блокнот, — что мы прилетели с гарпуном и называем его рукопожатием. И что рыба, которой кажется, что перед ней звезда, никогда не думает об оружии. До самого последнего мгновения. Потому что зачем оружие против звезды? — Он сунул регистратор в карман. — Запомни про противофазу, Аманда. Обещай мне. Не как коллеге. Как старику, который однажды уже смотрел в красивое и не отвернулся вовремя.

— Обещаю, — сказала она, чтобы он успокоился, не зная ещё, что даёт единственное обещание, которое будет иметь значение.

Той ночью ей не спалось, и она открыла запись первого спуска — свою собственную, нашлемную, тридцатидневной давности, — и смотрела её в темноте каюты, как смотрят старые семейные плёнки: не ради данных, ради чувства.

На записи открывался люк посадочного модуля, и в проём вливался красный сумрак чужого мира. Проксима стояла в зените — маленькая, тусклая, не дающая теней, только ровное багровое свечение, в котором всё казалось погружённым в воду. Аманда-на-записи спускалась по трапу, и первое, что делала, — замирала.

Котловина под тусклым солнцем была прекрасна и чужда так, что перехватывало дыхание. Она вся заросла цветущими камнями — не растениями, не кораллами, а именно камнями, гранёными наростами породы всех размеров, от песчинки до валуна, — и все они светились.

Не отражали красный свет звезды, а держали в себе свой, изнутри: янтарный, розовый, зеленоватый, — тёплые огоньки в холодном багровом воздухе, миллионы их, до горизонта, как город ночью, увиденный с высоты, как небо, опрокинутое под ноги. Когда Аманда сделала шаг, ближние камни дрогнули и переменили свет — по котловине побежала медленная волна цвета, реакция на её движение, на её тень, на само её присутствие, и это было так похоже на приветствие, что она, учёный, астробиолог, человек, всю жизнь боровшийся с антропоморфизмом, стояла и глотала слёзы в шлеме, потому что впервые за десять лет ей показалось, что чужое — радо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.